БЕЛОМОРСКАЯ ЛОЦИЯ

Поморская Быль

БЕЛОМОРСКАЯ ЛОЦИЯ



ИРИНА БОДЯКШИНА

Ирина Бодякшина

Беломорская лоция

«Автор»
2026

Бодякшина И. В.

Беломорская лоция / И. В. Бодякшина — «Автор», 2026

В тихой северной деревне, где время словно остановилось, происходит нечто странное. Баня сгорает в ночь на вторник, но дверь оказывается запертой изнутри. На крыльце — ровная полоса соли, не тронутая огнём. Вода в бочке не отражает ни неба, ни дыма. А мальчик Гриша каждую ночь выходит в прихожую и молча стоит у двери, пока не пробьёт семь.Страховой агент Ольга Сергеевна приезжает на осмотр и понимает: это не просто пожар. Это часть чего-то большего — древнего, неумолимого, живущего по своим законам. Вместе со старостой Петром Ильичом и местными жителями она начинает расследование, которое приведёт её к тайнам, скрытым в старых лоциях, обрядах и памяти воды."Беломорская лоция" — это мистический триллер о северной деревне, где реальность переплетается с древними верованиями, а страх рождается не из монстров, а из тишины, соли и неподвижной воды. Здесь каждый шаг — это шаг по грани между миром живых и миром, который помнит всё.

© Бодякшина И. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Акт 6
Глава вторая. Соль 8
Глава третья. 19:00 10
Глава четвёртая. Лабаз 12
Глава пятая. Список 14
Глава шестая. Счёт 16
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Ирина Бодякшина
Беломорская лоция

Название: Беломорская лоция
Автор(-ы): Ирина Бодякшина
Ссылка: https://author.today/work/690197

Глава первая. Акт

Дым оседает за сутки.

В Койницу я выехала в понедельник.

Пожар был осенний — третий за месяц по участку. Старая рубленая баня, без страховки. Такие случаи я оформляла восемь лет подряд, и почти всегда всё было понятно: печь, проводка, печурка возле стены, случайная искра. Этот случай не укладывался в привычную схему, но я ещё не знала об этом, пока тряслась в машине, одолевая сорок километров по грейдеру.

Тарасов Николай Степанович, шестьдесят один год, встретил меня у пепелища. Он не ждал вопросов — будто заранее знал, что они не помогут.

— Я не топил, — сказал он без вызова, просто как факт.

— Когда топили в последний раз?

— В среду. Бабушка парилась.

— Дверь?

— Заперта. Изнутри.

Я записала. Дверь заперта изнутри, огонь наружу не выходил, стёкла целы. Пепел лежал ровно, будто его аккуратно разровняли. В нём не было ничего, кроме ржавых петель и прутьев каменки. Соль я заметила позже, когда обошла дом по кругу — как положено по осмотру. Она лежала на пороге серой полосой, комковатой, с промежутками в палец. Внутри пепелища соли не было.

— Это кто рассыпал? — спросила я.

— Она, — ответил Тарасов.

— Кто — она?

Он посмотрел на меня так, будто я принесла акт без подписи: не зло, не удивлённо — просто такой документ не примут. Я уже убирала блокнот, когда он всё-таки заговорил. Говорил неохотно, будто слова давались ему тяжело, и смотрел при этом в сторону — словно обращался не ко мне, а к кому-то ещё.

— Я ей сказал, что крыть надо, — произнёс он. — По-своему, по-дедовски. А она мне: «Счёт не твой». — Он затянулся и стряхнул пепел. — И ушла.

Он перевёл взгляд на воду. Я тоже посмотрела туда. Там ничего не было.

Вечером в райцентре я открыла журнал выплат по Койницкому участку за десять лет. Тридцать одна баня. В колонке «иные обстоятельства» снова и снова встречалось одно слово: «соль». Иногда добавляли: «соль рассыпалась». Один раз стояло: «обет». В четырёх строках — «Она не в срок».

Так пишут те, кто знает, о ком речь, но не решается назвать имя.

На карте у меня в кабинете стояли точки по всем пожарам за одиннадцать лет — я отметила их в среду синей ручкой, по старой привычке не доверять чужим сводкам. Тридцать один пожар. Девять из них я нашла сама, остальные сошлись с базой. Двадцать девять пришлись на осень. Один сгорел в мае, на дальнем кордоне, и я так и не смогла увязать его с остальными. В отчёте я написала: «установка обогревателя, нарушение», но сама помнила, что никакого обогревателя там не было. Ещё один случился в пятницу. Все прочие — в будние дни.

Пятница и май не сходились с общей картиной. Я выписала эти два случая отдельно.

В акте я указала: «причина — пожар». В графе «иные обстоятельства» поставила: «соль рассыпалась».

У пепелища Тарасова, через дорогу, стояла изба Авдотьи Терентьевны. Я зашла к ней: соседка, старожил, а старожилы знают то, чего нет в отчётах.

— Тарасов-то ни в чём не виноват, — сказала она, наливая мне чай. — Он только ей сказал, что крыть надо. По-своему сказал.

— Кто — она?

— У тебя, милая, посуда сохнет, что ли? Пей. Про воду спрашивать будешь — воду пей.

У окна сидел мальчик и смотрел на речку.

— Маринин. Гриша, — сказала старуха, не оборачиваясь. — Соседки моей сын, у Марины-то. Восемь лет. — Она помолчала, будто прислушиваясь к чему-то. — Он в семь говорит с кем-то в прихожей. Каждый день в семь. Ты в семь вечерком в Койнице не задерживайся.

— А в семь что?

— Не свисти, — отрезала она. — Улов не считай. Соль не трогай. Счёт собьёшь.

— Чей счёт?

— Тот самый. О котором ты спрашиваешь, а спрашивать не надо.

Вечером, в райцентре, я открыла ежедневник. Графа «задачи на завтра» была пустой. Рука сама поставила в неё одну строку:

19:00

Я не знала, почему написала это. Просто рука сама.

Глава вторая. Соль

Соль не растворилась.

Сергей Павлович поставил стакан в вытяжной шкаф и забыл о нём до четверга. А в четверг позвонил.

— Оль, у меня проблема. Я понимаю, как это звучит. Я трижды ставил пробу: дистиллят, бидистиллят, водопроводную воду, пропущенную через трёхступенчатый фильтр. Кристаллы стоят. Не растворяются, не набухают, не мутят воду. Просто лежат, как гравий.

— На выпаривание ставил?

— Испарил. Соль осталась вся, до последней крупинки.

Я приехала в лабораторию в обед. Сергей Павлович работал у нас третий год, и за это время я привыкла к его манере: он никогда не начинал с приветствия — сразу с результата. Он усадил меня за лабораторный стол и поставил передо мной два стакана.

В первом был дистиллят с щепоткой соли с крыльца. Кристаллы лежали на дне серой горкой — так ровно, будто кто-то специально их сложил, как крупу или мелкий гравий. Во втором стакане он насыпал такую же щепоть и держал в руке бутыль с этикеткой: «Экспедиция, 2016. Белое море. Промывная».

— Это стоит на складе с шестнадцатого года, — сказал он. — Кто-то из экспедиции не вылил, и её так и не вылили. Смотри.

Он влил морскую воду во второй стакан. Мы смотрели вместе. На двадцатой минуте кристаллы потемнели — потемнели так, как темнеет хлеб, когда его макают в воду. На тридцать пятой минуте они начали оседать, размягчаясь по краям. На сороковой от них не осталось ничего.

— Так не бывает, — тихо сказал Сергей Павлович. — Кристалл не растёт вот так, одним куском. Семьдесят лет кто-то его подкармливал.

Он замолчал. Долго, будто прислушивался к чему-то внутри себя. Потом поднял глаза:

— Принеси ещё. С разных мест. С крыльца, из дома, из бани, если что уцелело. Только одно, Оль: из реки не бери.

— Почему?

— Не знаю, — признался он. — Не знаю почему, но не бери. Я всю жизнь с водой работаю, у меня в лаборатории семь кранов, и я ни разу не задумывался, откуда эта вода берётся. А тут взял стакан и понял: не хочу знать. Не из той она реки.

Я выехала из райцентра в пять. Всю дорогу до Койница я пыталась думать о химии: куда соль девает воду, которую не берёт? Соль — кристалл, в нём нет полостей, ей некуда прятать влагу. Но к парому я поймала себя на том, что думаю совсем не об этом.

Я думала о том, как вода узнаёт соль. Соль легла в морскую воду и растворилась за сорок минут — растворилась легко, будто вернулась домой. Вода узнала её. Вода ждала её семьдесят лет.

В Койнице я взяла ещё две пробы: из пакета Марины Петровны — тот самый дедовский, комковатый — и с порога второй бани, той, что стояла в глубине двора и не сгорела. Обе пробы я завернула в бумагу, подписала и положила в сумку.

Уезжая, я снова оглянулась на речку. Вода лежала ровной, неподвижной плоскостью, будто застыла в ожидании. Я смотрела на неё и понимала: в воскресенье мне придётся вернуться — но не за новыми пробами. За ответом. И этот ответ будет не в лаборатории, не в акте и не в журнале выплат. Он будет у человека, который когда-то сказал мне: «Не сметай». Ответ будет у Петра Ильича.

— Пётр Ильич, — сказала я по телефону, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Вы обещали сказать потом.

— Приезжай, — ответил он без раздумий. — И не одна ты приезжай. Я тебе не один скажу. Я тебе троих скажу.

Глава третья. 19:00

В пятницу я осталась в офисе после приёмного часа и вытащила журнал выплат за десять лет. Мне нужна была не колонка выплат — мне нужна была дата.

Я выписала на лист все случаи по Койницкому участку за десять лет. Набралось тридцать один, и все они были о бане. Не дача, не сарай, не курятник — баня. Тридцать одна баня за десять лет, на одном участке, в одном районе.

Разложила их по месяцам. Сентябрь — пять. Октябрь — девятнадцать. Ноябрь — семь. Один сгорел в мае, на дальнем кордоне: я писала в отчёте «установка обогревателя, нарушение», а сама помнила, что никакого обогревателя там не было. Ещё один случился в пятницу.

Два случая я сначала выписала отдельно и даже хотела выбросить из счёта — просто чтобы цифры легли ровно. Потом вернула. Нельзя выбрасывать то, чего не понимаешь: это первое правило оценки ущерба.

Из двадцати девяти осенних пожаров я выписала дни недели: понедельник — восемь, вторник — семь, среда — шесть, четверг — десять. Ни одного в пятницу. Ни одного в субботу. Ни одного в воскресенье.

Так бани не горят. Бани горят как хотят люди: в субботу, в пьянку, от короткого замыкания, в мороз, когда топят до чёрного потолка. По сезонам распределяются неравномерно, по дням — случайно, по годам — волнами. А тут — двадцать девять бань, все осенью, все в будни, все с ровными промежутками. Это было не совпадение. Это было расписание.

Пятница и май из этого расписания выпадали. Я записала их отдельно.

Повесила на стену карту района и нанесла тридцать одну точку. Точки легли вдоль берега нали — от тоньища до устья, грядой, с промежутками в полтора-два километра. Ни одной точки по ту сторону дороги. Ни одной на возвышенности. Ни одной, от которой до воды было бы дальше ста метров.

Тридцать одна баня — и все у воды. Даже та, майская, на кордоне: я проверила — от неё до ручья двести шагов.

В среду мне позвонила Марина Петровна.

— Ольга Сергеевна, я не знаю, к кому ещё идти. Гриша болен. Температура к семи — тридцать семь и шесть. Утром — тридцать шесть и шесть. Врач говорит: у детей бывает. Ольга Сергеевна, у моего не бывает. И ещё… Он ночью не спит. Он встаёт и выходит в прихожую.

— Что делает в прихожей?

— Стоит, — сказала она и замолчала, будто боялась произнести лишнее слово.

Я приехала в четверг. Гриша сидел на диване и смотрел телевизор — обычный мальчик восьми лет, со стёртыми коленками, в свитере, натянутом через голову. Он поздоровался, сказал «спасибо» за чай, съел печенье. В шесть сорок он встал, вышел в прихожую и встал перед дверью.

Мать смотрела на него из кухни.

— Он не отвечает, — сказала она тихо. — Просто стоит. Я его спрашиваю: «Гриша, что ты делаешь?» Он молчит. Рот шевелит — беззвучно, как будто говорит, а голоса нет. Стоит, пока не пробьёт семь. Потом сам уходит в комнату и ложится. И всё это — без температуры: до семи он нормальный.

Я подошла к нему. Он не повернул головы. Я положила руку ему на плечо — оно было горячее. И тогда я услышала.

За дверью, снизу, шёл звук. Сначала я подумала, что это гудят трубы. Но это был не гул. Это было дыхание — ровное, длинное, на одной ноте. Я положила вторую руку на дверь — под ладонью доска была тёплая, как бывает тёплая доска, за которой стоит вода. Прихожая была сухой. В ней не было ни капли воды. Но звук был, и он шёл снизу, из-под пола.

В семь ноль-ноль звук ушёл. Гриша вздрогнул, как вздрагивают те, кого будят, и повернулся от двери. Температуры не было. Он снова сказал «спасибо за чай» и лёг.

Дома, в райцентре, я открыла ежедневник и выписала в графу на завтра:

«Гриша. 19:00. Каждый день».

Ниже, не отрывая руки, добавила:

«29 бань. Осень. Будни. Берег».

И ниже — пятница, и май, и кордон. Отдельной строкой, как записала их на карте.

Я посмотрела на три строки. Почерк был мой. Но я не помнила, как это написала.

Глава четвёртая. Лабаз

В субботу я поехала к Авдотье Терентьевне. Её мне назвала Марина Петровна: соседка по ту сторону речки, старуха восьмидесяти четырёх лет, живёт одна. И добавила то, что я записала дословно, потому что по-другому не поняла: «Баня у неё сгорела первой. Первой в приходе. Четыре года назад, в четверг».

Авдотья Терентьевна ждала меня на лавке у калитки. Не удивилась — просто отодвинулась, освобождая дорогу, как освобождают дорогу тому, кого давно ждали. Она налила мне чаю и села напротив, положив руки на колени.

— Ты по бумагам ходишь, — сказала она вместо приветствия. — Хорошо. По бумагам ходи. Только три правила на воде запомни. На воде не свисти. Улов перед берегом не считай. Соль в доме не сметай.

— Почему? — спросила я.

— Потому что счёт собьёшь, — ответила она и налила мне вторую чашку.

Про счёт она не сказала больше ничего. Я ждала хоть какого-то объяснения, но его не было. В райцентре я вела разговоры о страховке с тремя сотнями людей и знала, как устроены те, кто не объясняет: они молчат либо потому, что не знают, либо потому, что знают слишком много, чтобы уложиться в обычный разговор. Авдотья Терентьевна знала слишком много.

— Соль с крыльца взяла? — вдруг спросила она.

— Взяла. В лабораторию отдала.

— И как?

— Не растворилась.

— Пусть стоит, — кивнула старуха. — Ей хорошо. Она у тебя теперь.

Я не стала уточнять, что значит «ей хорошо» и что значит «у тебя». На Севере такие вещи не разжёвывают.

По дороге к лабазу, за огородами, у самого уреза воды стоял мужчина в ватнике. Он держал в руках свёрток и сыпал соль в воду — пригоршней, медленно, не бросая, а именно сыпал, как сыплют не мусор, а зерно. Собака лежала рядом, мордой на передних лапах, и смотрела не на воду, а на мужчину.

Он не обернулся, когда я подошла. Досыпал горсть, постоял, глядя на воду, будто прислушиваясь к чему-то, и ушёл вверх по тропе. Мы не сказали друг другу ни слова.

У поворота я встретила Петра Ильича. Он шёл с вёдрами, поставил их, заметил мой взгляд, брошенный в сторону берега, и сказал коротко:

— Это Ветров. Не мешай ему. Он платит.

— За что платит? — не удержалась я.

— Это ты у него спроси, — ответил Пётр Ильич и снова поднял вёдра. — Когда сама поймёшь, за что платят, тогда и спросишь. А пока не спрашивай. Не тот у тебя ещё билет.

Лабаз стоял за огородом Авдотьи Терентьевны, на вбитых курах, крытый дранкой. Внутри пахло сетями, дёгтем и старой берестой — так пахнет место, где хранят не товары, а память. У стены стоял сундук, окованный по углам жестью, а на сундуке лежал пакет из плотной бумаги, перевязанный бечёвкой.

— Колян мне оставил, в мае, — сказала Авдотья Терентьевна. — Сказал: принесу человеку из конторы, как придёт по бумагам. Ты первая, кто пришёл по бумагам.

— Колян жив? — спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ.

— Колян умер в сентябре, — спокойно сказала она. — А в мае он этого не знал.

Я взяла пакет. Внутри оказалась тетрадь — старая, в холщовой обложке, потемневшая по краям, тяжёлая для своего размера. Я открыла первую страницу: бумага была сероватой, с

неровной кромкой, какой я не видела ни разу. Почерк шёл ровной строкой, старой рукой, и вёл, как ведут лоцию: глубины, створы, мели.

— Что это? — спросила я.

— Книга, — сказала Авдотья Терентьевна. — По ней вода счёт держит. Тебе несу, потому что тебе и держать.

Когда я вышла, вода у лабаза стояла высоко. Не по осенней отметке — по весенней, будто весна пришла в октябре. Я посмотрела на вбитые куры: вода подошла к третьей снизу. В сентябре она подходила к первой.

— Пусть стоит, — сказала Авдотья Терентьевна за моей спиной. — Она тебя проводит.

Я несла тетрадь к машине, и вода у лабаза не уходила. На повороте я оглянулась: она всё стояла, ровная, неподвижная, у третьей курицы, будто ждала, пока я скроюсь из виду.

В ежедневнике я записала: «Тетрадь. Сдать в лабораторию». И подчеркнула.

Подчёркивать я не любила. Но тут подчеркнула.

Глава пятая. Список

В воскресенье я поехала к Петру Ильичу — за теми троими, которых он обещал ещё в четверг.

Он жил на краю Койницы, в избе, от которой до воды было шагов пятьдесят: ближе всех, кто остался на берегу. У порога, в неглубоком глиняном блюдце, лежала соль — ровным слоем, как насыпают не еду, а знак. Я заметила её ещё в первый приезд и не спросила: уже знала, что не всякая соль — еда.

Пётр Ильич посадил меня к печи, на тёплый топчан, налил чаю в толстостенный стакан в подстаканнике и сказал без обиняков:

— Слушай один раз, Оль. Второго не будет.

И сказал.

Первая строка — Домна.

— Домна сыпала за покойницкий дом и за Тарасовых. Она мать первой жены Тарасова — жена его в воду ушла, давно, в девяностых. Счёт с дома не снимается. И слово взяла Домна. Двадцать лет сыпала. По понедельникам. Умерла в две тысячи шестом, в сентябре, по-домашнему. Счёт после неё принял Колян, сын её, — он в покойницком доме и жил. Умер в сентябре этого года. Повис.

— Повис? — переспросила я, будто слово было чужим, и мне нужно было услышать его ещё раз, чтобы поверить.

— Повис, — повторил он ровно, без нажима. — Как повисает всё, что никто не держит. Колян платил по-своему, без дня: когда надо — тогда и ходил. Так не платят, Оль. Так смотрят.

Вторая строка — Кольский.

— Кольский Иван Степаныч. С восемьдесят четвёртого года. Обет, за брата — сам скажет, если сочтёт нужным. День его — четверг. Банку кормит, соль не тратит: у него соль растёт, а не лежит. Это тоже сам скажет.

Третья — Ветров.

— Ветров Аркадий Павлович. С восемьдесят пятого — с похорон жены. Жена его с тоньища не вернулась: у камней, в сентябре, одна на воду вышла. Сорок один год он сыплет. По средам. Соль у него стоит, баня стоит — дом ладный. А вчера, в субботу, впервые за три года на берег вышел: сыпал. Я смотрел издалека. Не брала. Легла кругом по воде и не тонула. Без слова сыпать нельзя — он слова не знает. Он думает, она обиделась. А она не обижается, Оль. Она не берёт. Это хуже.

— Почему не берёт? — спросила я, и голос мой прозвучал слишком громко для этой низкой избы, будто я нарушила какой-то неписаный запрет.

— Потому что просрочка, — спокойно ответил Пётр Ильич. — Три года не сыпал — болен он, почки, думал: отлежусь. Соль в доме лежала, не тронутая. За сорок один год — три года простоя. Это как в вашей конторе: платил тридцать восемь лет и три не платил. Задолженность есть?

— Есть, — кивнула я, чувствуя, как этот сухой, знакомый мне язык цифр вдруг ложится поверх чужого, древнего счёта и делает его пугающе реальным.

— Вот, — сказал он, и в этом «вот» не было ни упрёка, ни сочувствия — только констатация.

Я спросила, платит ли он сам. Пётр Ильич усмехнулся — коротко, без веселья:

— Староста не платит. Староста следит, чтобы платили как следует. Это другая работа. Мне за неё не платят — я её просто делаю.

Уходя, я спросила про Авдотью Терентьевну. Он ответил уже в дверь, не оборачиваясь:

— Авдотья не в списке. Она держит. Держать и платить — разные руки.

Дома я выписала список в блокнот, столбиком, как выписываю ведомости — чётко, без лишних слов:

Домна — за покойницкий дом и Тарасовых. Закрыта.Кольский Иван Степанович. Обет. Активен.Ветров Аркадий Павлович. Просрочка, три года.Колян. Без дня. Закрыт в сентябре.

Против двух фамилий я поставила знак, которым в нашей работе помечают неурегулированный убыток — косой штрих, похожий на сломанную палочку. Из четырёх строк две были мёртвые. Одна — с задолженностью. И только одна жила по правилам.

Вечером я открыла ежедневник. В графе на завтра рука добавила одну строку — будто сама, без моего ведома:

«Строка пятая. Не вписана».

И ниже, тем же нажимом, будто вдавливая стержень в бумагу:

«Ждёт».

Я долго смотрела на эти две строчки. Они не были похожи на мои обычные записи — сухие, деловые, с датами и суммами. Эти выглядели как предупреждение. Или как приглашение.

Глава шестая. Счёт

О Тарасове я узнала в среду. Позвонил Пётр Ильич и сказал без приветствия:

— Тарасова больше нет. В понедельник, в ночь, ушёл с берега и не вернулся. Лодку утром нашли у камней — пустая, налитая до бортов. Ты у пепелища его последней видела.

Я хотела спросить про похороны — и не стала. Хоронить было нечего: он остался в воде. Счёт, который висел над его домом, теперь висел в воздухе — и я уже понимала, что сам он не рассосётся.

Кольского Ивана я нашла по адресу, который дал Пётр Ильич: старый берег, вторая изба от тонейской стороны, за ней — лес, и больше ничего. К нему я ехала в четверг: в день, когда он по списку стоял вторым, и в день, когда до двадцать девятого оставалось десять суток.

Пёс у его избы не лаял — тоже. Я шла к крыльцу и считала: вторая собака за неделю, которая смотрит на воду.

Кольский открыл сам. Ему было за шестьдесят, и стоял он ровно, как стоят люди, у которых ничего не болит, — а в шестьдесят болит всегда. Но в его ровности не было напряжения: будто боль он давно пересчитал и разложил по полочкам, как соль по банкам.

— От Петра Ильича? — спросил он.

— От него.

— Тогда заходи. Раз от него — про обет говорить можно.

В избе было чисто и пусто: стол, лавка, печь, а у окна — копеечный свилок. Он снял с полки маленькую банку и поставил на стол.

— Соль, — сказал он. — Смотри.

Соль в банке лежала слоем. Не горкой — слоем, ровным, до самых стенок, как вода в стакане. И верх у этого слоя был гладкий. Не рыхлый, не комковатый — гладкий, как лёд.

— Так не бывает, — сказала я. Это я уже знала. Я говорила эти слова один раз, в лаборатории, и мне ответили: бывает.

— У меня бывает, — ответил Кольский. — Я её кормлю.

Он взял банку, налил в чайник воды из кружки и поставил на плиту. Я не поняла, что он делает, и спросила. Он ответил не сразу.

— Рассол, — сказал он. — Круть, чтоб соль брала. Раз в месяц навожу и подкармливаю. Слой растёт. Внизу новый кристалл берётся, вверху я подпитываю. Сорок два года, Ольга Сергеевна. Слой вырос на полтора пальца с восемьдесят четвёртого. — Он посмотрел на банку без нежности и без страха — так смотрят на своё. — Это мой счёт. Полтора пальца.

— Расскажите с начала, — попросила я.

Он сел. Рассказывал ровно, как читают описание имущества, — и от этой ровности он был страшнее, чем Авдотья Терентьевна со своими правилами.

— Брат мой, Степан, утоп в восемьдесят четвёртом. Яма Щучья. Двадцать три ему было. На похоронах, за отпевом, ему старуха одна сказала — имени я не запомнил, я запомнил, что она была не местная. Сказала: не ты его топил, но счёт на вас. Вода получила от вас двоих, а вернула одного. Второй не вернулся — и за него теперь платят живые. Ты будешь платить. Пока платишь — брат твой стоит у воды и ждёт. Перестанешь — заберёт и его, и ещё кого с концом, где меньше положат. — Он поднял на меня глаза. — Я спросил: как платить? Мне сказали: кристалл расти. Морской солью. Дать ей расти и не брать никогда. Кристалл — это брат. Он стоит в соли, пока соль стоит в рассоле. Я не понял ничего. Мне девятнадцать было. Я сделал как сказали.

— И все эти годы…

— Все эти годы. — Он потрогал банку ладонью, тихо, как трогают плечо. — Знаешь, что я тебе скажу, Ольга Сергеевна. Я жизнь прожил. Жену не взял. Не потому что не хотел

— потому что нельзя мне было уходить с берега дольше, чем на два дня: рассол пересыхает, кристалл не отстающих держит, а ослушавшихся. Я сыпал. Я не уехал ни разу — ни в отпуск, ни в город. Сорок два года. И вот что я скажу тебе про страх. Страха у меня нет. Я думал, будет. Нет. Потому что у страха есть начало — а я этого начала не помню. Мне дали слово держать, и я держу. Как держат воду в лодке: не размышляют — черпают.

— А брат?

— Брат стоит. — Он сказал это просто, без паузы, как говорят о том, что видят каждый день. — Я его не вижу. Но в Щучью яму, Ольга Сергеевна, с восемьдесят четвёртого года никто не опускался и не утоп. Ни один. А до нас — топились через год, через два, с малого сходился на дно. Яма закрыта.

Я записала. Потом спросила то, ради чего ехала:

— Иван Степаныч. Обет можно передать?

Он не удивился. Он ждал этого вопроса — я поняла по тому, что раньше достал банку: показать счёт, прежде чем говорить о передаче.

— Передать можно, — сказал он. — Слова такие не умирают с человеком. У нас тоне это знали всегда. Умирающий говорит: держи. Ближний отвечает: держу. Вода слышит — вода меняет книгу. — Он кивнул на мою сумку. — Твоя-то тетрадь? Неси сюда.

Я достала тетрадь и положила на стол. Он открыл её на развороте с записью про Тарасов порог и провёл пальцем по строкам — не читая, а как ищут знакомую строку.

— Тут всё есть. Дано и принято. Книга — это она и есть, счёт её. — Он поднял на меня глаза. — Только вот что, Ольга Сергеевна. Передают обет тому, кто понимает, за кого. А ты не понимаешь. Ты про баню думаешь, про журналы, про чернила. Про баню — это не про то.

— А про что?

— Про воду. — Он постучал пальцем по столу: три раза, негромко. — Баня, Ольга Сергеевна, это не постройка. Баня — это то, чем человек приходит к воде. Каждый приходит. Стирка, пар, рыбий пот — всё это к воде. А она это считает. Она всё считает: и топку, и помывку, и как ты в воду смотришь, когда ведро зачерпываешь. И когда человек баню теряет — он перестаёт к воде ходить. И тогда она приходит за ним.

В избе стало тихо. Печка треснула один раз — и от этого одиночного треска тишина стала глубже.

— Двадцать девятое ноября, — сказала я.

— Знаю, — ответил он. — Я не читать умею, я слышать умею. Вода меня в четырнадцатом слышала, и я её с тех пор слышу. — Он помолчал. — Двадцать девятое — это не баня. Бань больше не будет, Ольга Сергеевна. Гряда отработана: тридцать один за десять лет, все у воды, все осенью. Дальше она мелочь не берёт. Двадцать девятое — это когда она берёт то, что берёт редко. Раз в поколение.

— Кого?

— Не знаю кого. Знаю где. — Он посмотрел на окно, за которым темнел лес. — По гряде твой список кончается. Дальше по берегу ничего не стоит. Ничего — и есть место. Она приходит туда, где ничего не стоит, когда счёт не закрыт. У тебя счёт не закрыт: Тарасов умер, а платёж с его дома не снят.

— Тарасов платил?

— Тарасов не платил. За Тарасова платила Домна, мать его первой жены. Умерла — и счёт повис. Повис на том, кто остался в доме. — Он снова посмотрел на меня, и взгляд его был тем, от которого отводят глаза. — На Коляне.

— Колян? — переспросила я. — Тарасов?

— Он самый. Ты у пепелища его видела. Ушёл в ночь, в понедельник.

Я знала. Я не хотела знать, что это связано.

— Домна сыпала двадцать лет, — продолжал Кольский. — Я слышал, как она к берегу ходила, — по скрипу калитки считал. Умерла — и её баню взяли в ту же осень. А Коляна она ждала двадцать лет. Она умеет ждать. Взять взяла в сентябре: сначала баню, потом его. Счёт, Ольга Сергеевна, не пропадает. Он ищет того, в чью пользу его вписали.

— В чью пользу его вписали?

— В его собственную, — сказал Кольский. — Всегда. Счёт, который вписан на тебя, — он за тебя. Пока платят за тебя — ты стоишь. Когда перестают — ты платишь сам. Всем собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.